

© 2012 valery, janis kalmynsh, design

**НИКОЛАЙ
КРЫЩУК**

**ВАША ЖИЗНЬ
БОЛЬШЕ
НЕ ПРЕКРАСНА**



Самое время!

Николай Крыщук

Ваша жизнь больше не прекрасна

«WebKniga»

2012

Крыщук Н.

Ваша жизнь больше не прекрасна / Н. Крыщук — «WebKniga», 2012 — (Самое время!)

Неприятное происшествие: утром в воскресенье герой понял, что умер. За свидетельством о смерти пришлось отправиться самому. Название нового романа известного петербургского писателя Николая Крыщука отсылает нас к электронному извещению о компьютерном вирусе. Но это лишь знак времени. Нам предстоит побывать не только в разных исторических пространствах, но и задуматься о разнице между жизнью и смертью, мнимой смертью и мнимой жизнью, и даже почувствовать, что смерть может быть избавлением от... Не будем продолжать: прекрасно и стремительно выстроенный сюжет – одно из главных достоинств этой блестящей и глубокой книги.

© Крыщук Н., 2012

© WebKniga, 2012

Содержание

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ	5
Утром в воскресенье	5
Осенняя прелюдия.	8
Последний раз дома	12
Утренний звонок	16
В ожидании Суда Небесного.	19
Перформанс: маленький человек	24
ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ	25
Отец. Беспкойные ритмы	25
Геометрия взбунтовалась	27
Моряцкая душа	30
Кандидат в члены семьи	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Николай Крышук

ВАША ЖИЗНЬ БОЛЬШЕ НЕ ПРЕКРАСНА

*Кого позовешь ты на помощь?
Ни любви, ни смерти, ни сна...*
Из песни А. К.

*Теперь слишком поздно;
Ваша жизнь больше не прекрасна.*
Из электронного письма с компьютерным вирусом

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

Неприятное происшествие

Утром в воскресенье

Сразу не повезло – я умер утром в воскресенье. В тот самый час, когда люди не могут сосредоточиться на обстоятельствах чужой жизни. Тем более смерти. Зарываются лицом в птичьи перья и не хотят просыпаться. А вдруг того коврика, где вышитая крестиком Аленушка, уже нет? Или комплимент начальнику получился слишком язвительным? И вообще, желудок после грибной подливки камнем под сердцем лежит. Может быть, рак? Тьфу-тьфу-тьфу!.. Не выговаривается. Тьфу-тьфу-тьфу!.. Язык, паралитик! Неужели и впрямь пора вставать?

Ну вот, а тут я со своей смертью. Никаких, естественно, ресурсов для потрясения.

И мне бы, конечно, нужно было быть деликатнее, но, видно, сил уже не хватило. Плафон сложил свой рисунок сначала словом «Зина», потом – «Зоя». И стало ужасно тоскливо. Я подумал, что ступеньки, по которым я столько лет поднимался к своему семейному счастью, истерлись задолго до моего рождения. По ним скользили еще какие-нибудь очаровательные фантоши прошлого века и напевали нечто из итальянской оперы, тоже уверенные в своей красоте и бессмертии. И от этой ничего не значащей и, скорее всего, надуманной картинки, мне вдруг стало так кисло.

Проигранная жизнь крутилась песенкой: «Слава-Слава-Слава-Славочка, мы посидим на лавочке...» Потом: «Ах, лава-лава-лава лавочка, разбил мне сердце Славочка...»

Подворотня сужалась, и в ней не горел свет. Потом из темноты проявились какие-то бандиты и все кричали, но никто не хотел ударить. Потом один все же ударил, а в руках у меня очутилась слепая монетка, подаренная на коктейльном пляже заранее обожаемой женщиной. Все, чего в этой женщине хотелось, было покрыто цветочками – осенними, фиолетовыми и серебристыми. Она, выкормыш мой, оказывается, решила уже стариться и надела закрытый купальник. Я дрался из-за нее. ...А монетка?

Классики, конечно, и в этом соврали. Какая там вся жизнь в хронологическом порядке? И одной картинке не слепить.

Вошла матушка. Лица на ней не было. Стала пробовать землю из цветочного горшка, разминать ее пальцами и нюхать. Потом заметила меня.

– Макаронов-то, сыночка, уже нет. Вчерашние все пережарились. А киномеханика, о котором ты спрашивал, звали Петей.

Кинемеханик Петя был влюблен в нее пятьдесят лет назад, благодаря чему мама получила в деревне начальное кинематографическое образование. Потом уже начались университеты с моим отцом.

Я вдруг подумал, что, может быть, Петя – мой отец? Попробовал представить его. И не смог. Он освежал голову сырой травой и никак не хотел задумываться о планах продолжения рода. Сознание его было сосредоточено на расшнурованной маминой груди и не желало принимать в себя никого лишнего и нового. Меня, то есть. А я, натурально, умирал, и все эти фантазии уже не имели смысла.

Ну вот, и как это все случилось? Утро в окне. Просыпается жена – крохотулечка моя, мой мизинчик. Ныряет в халат и бормочет безадресно: «Никто не обещал». Затем ко мне уже:

– Кофе будешь?

Я, разумеется, в силу известных обстоятельств молчу. Тогда она нажимает мне на глаз и говорит ласково:

– Ты меня слышишь?

А я в роль выгрался, мне буквально ни до чего. Она сообразила, вероятно, что дело на этот раз не только в моей утренней энтропии. Зовет детей.

– Вставайте! Или вас опять холодной водой поднимать? Отец преставился.

Оба вскочили, реагируя на такой чрезвычайный крик, чешутся и зевают. Привыкают к свету.

– Достал-таки. Я так и знала. Он вообще всегда умел выбрать время.

Сын пошутил:

– И место.

– Вот теперь сами с ним и разбирайтесь. Удумал тоже. Позер и есть позер.

Понимаю, не дадут они мне мою смерть почувствовать. Я ведь еще тепленький, некогда было. И жалко при этом, что не смогу уже никогда вступить с ними в неформальные отношения.

И вдруг увидел – они ведь тоже все умрут. Утро на лицах отметилось алебастром, птички в глазных зыбках плавают в разные стороны. Нет, не преждевременность, не подстерегающая в полдень, допустим, катастрофа, но сам факт неизбежности смерти стал до того очевиден.

И все заговорили вдруг как у Метерлинка, задвигались как у Виктюка... Не то что ближе и дороже они стали мне (куда уж?), не то что жалко их стало, но печаль в мое сердце вкралась (печаль, вот слово, которое надо было искать). Имени у этого не было. А такие, например, слова и картины: морось, немой скандал, записная книжка на скамейке под дождем, балабуда... И еще почему-то: заснуть в неизвестном падеже на коленях у мамы. И – мы пойдем с тобой знакомым словом «перелесок»...

Носки с дырочкой на правом, пахнущие вчерашним днем, я забыл выкинуть в таз. И обоим над столом, ободранные, не покрасил.

– Учитесь! – фраза, как всегда у жены, на первый взгляд бессмысленная, но значительная.

Мы познакомились в троллейбусном парке, и троллейбусы текли, текли, куда нам хочется. Цветок желтой акации упал ей на колени. Я схватил его зубами и жевал, ненатурально переживая страсть.

Сейчас жена была в зеленом халатике и необыкновенно расстроенная. Одновременно подметала пол и глотала вишни из компота, выплевывая косточки в ладошку. Как я любил эту ее небрезгливость, когда был жив!

Дети переминались босиком на холодном полу, выращивая в себе сочувствие. Я бы тут же отослал их надеть что-нибудь, но кто я уже? Дорогая моя не посмела указать, чтобы не нарушить скорбного все же момента.

– Эй, недоглядки, – пробормотал я, – тапки наденьте.

– В сущности... – сказала жена и заплакала.

Дети голодно сосредоточились на апельсине и тоже плакали. Я лежал, как положено, и переживал трагедию. «Действительно, – думал, – не каждый день я могу им предоставить повод для такой полноты ощущений. Пусть поплачут. Слезы, говорят, облегчают».

– В общем, я с этим не согласна! Так всякий может, если захочет. А расхлебывать опять мне.

– Ну что теперь с него взять? Ты, ей-богу! – сказал старший.

Старший и младший – это, вообще говоря, наша домашняя шутка. Потому что старший старше младшего минут на пять. Свое близняшество они используют сполна, по всем правилам нового времени. Например, один выслушивает по телефону хриплые, поющие признания девушки, обращенные не к нему, и отвечает индифферентно, оскорбительно не помня подробностей, другой рядом беззвучно корчитя. Кажется, они дублируют друг друга уже и при интимных свиданиях. На меня не похожи – я был мучительнее и однозначней. Но может быть, у них еще все впереди?

Жена, как это с ней бывает, стала слепоглухонемая.

– А я почему должна знать? Он сам все затеял, ну вот и пусть!

– Мать, опомнись, он помер.

– Не надо мне только рассказывать!

Не скрою, обидно мне стало, что обо мне говорят в третьем лице. Будто я уже умер.

А будто уже нет?

Так или иначе, понял я, что без официального подтверждения мне на тот свет не отправиться. Сами они палец о палец не ударят. А я, надо сказать, в деле оформления исхода шепетил до формализма. С момента таинственного исчезновения отца это превратилось в пунктик, теперь же, когда расход людей пущен на самотек и не подлежит уже никакому учету, пунктик стал настоящей идеей фикс, без преувеличения, главной задачей жизни. Я, как это ни смешно, в глубине души ждал этого момента. И вот час настал. Идти за подтверждением собственной смерти предстояло мне самому. Это было даже по-своему логично.

Прихожу, например, к такой-то и говорю:

– Так и так. Мне справочка нужна. Свидетельство о смерти. Гражданин, в скобках имя, и нам пожелал долго жить.

– Это замечательно, – отвечает стерва и почесывает локоть, который, как замечено, стареет у женщин первым. – Это замечательно, что он умер таким молодым и добрым и, судя по вашим глазам, даже с мафией не связан. Но вот, не сочтите меня формалисткой, покойник подозрительно похож на вас.

– То есть что значит, подозрительно похож? Это я и есть. Мне только справку надо.

– Тогда вопрос решается просто. Вызываем милицию и обсуждаем это досконально.

У меня переживания. Мне, можно сказать, ни до чего. Могу ли я с человеком в погонах обсуждать такую интимную проблему, как уход из этого мира?

Но вышло все не так...

Осенняя прелюдия. Дежурная по летальным исходам

Улица подняла меня вместе с другим податливым народом и вынесла к каналу, под поеденные морозом липы. Деревья тут же начали обдывать гнилой свежестью; одновременно, передернувшись, они успевали стряхивать с себя растерянную птичью мелочь и свистящим шепотом подавать команды торопящимся в стойло облакам. Во всем этом угадывался некий смысл, мне уже недоступный.

В эту пору воздух даже в городе отдает палой грушей и забродившей ягодой. Раньше мне всегда был приятен этот привкус сезонного разложения, сырой дух корней, который манил еще наших предков, питающихся дохлой рыбой, камбием или объедками от пира хищников. Мой род шел, вероятно, прямо от них, а не от предков-охотников. Вид убитой птицы, опирающейся на крылья, как на костыли, невыносим; для счастья сбывшегося инстинкта мне хватало застигнутого под низкой еловой кроной боровика.

Но сейчас не было во мне безотчетного ликования. Я шел по осени, как по большой продуктовой камере, в которую холод запустили с опозданием, если, конечно, не имели в виду приготовить какой-нибудь чукотский деликатес с душиком, вроде копальхена. Под ноги то и дело попадались возбужденные, подергивающие шеями собаки, и этот ветер, горящие с утра фонари... Что может быть тоскливее осеннего дня, зернистого, с криминальными, как на газетной фотографии, тенями!

Я обнаружил себя с открытым ртом над мальчиком, который проталкивал по инкрустированному льдом ручью щепку, груженную стеклышками. Весь экран моего зрения занимала его голова. Волосы сбегались к середине воронкой, рисунок, космический по затее, я понял это впервые и неизвестно чему обрадовался. Покатый спуск от воронки вел к родничку. Зачем стервец сдернул свою шапку арбузной раскраски? Родничок пульсировал, как у младенца, и дымился. Попади сюда крупная градина, и прекрасная возможность жизни упущена навсегда. Не будет ни гения, ни любви, и пузыри звуков, уже и теперь таинственные, как послания инопланетян, никогда не превратятся в речь. Я содрогнулся от этой более чем вероятной и жестокой шалости судьбы.

Выходит, смерть с первого дня ерошила пух на этой незатянувшейся полынье, и в каждом материнском поцелуе таился ее смех?

Но тут полынья на моих глазах затянулась, взгляд утратил рентгеновскую проникаемость, потные волосы продолжали, впрочем, слегка дымиться. Недавний младенец тихо выговаривал проклятия.

– Тоже мне еще камарилья! – прокряхтел он.

Я смотрел на него, как когда-то на египетские рисунки, пытаюсь понять, чем заняты эти застигнутые врасплох, грациозные, с острыми плечами и осетинской талией, глядящие мимо меня человечки?

Родители, по-разному убранные каракулем, дежурили в стороне. Мама, пряча ладони в седой каракулевой муфте, сказала:

– Попала в Интернете на статью. Автора забыла. «Самостеснение Толстого». Очень интересно.

– Что это значит? – спросил муж в каракулевом пирожке.

– В смысле?

– Стеснительность или стесненность?

– Самоумаление, я думаю.

– Которое паче гордости?

– Ну разумеется.

– Сеня, – позвал отец, – суши весла. Выгул закончился.

– Па-па! – закричал пузырь, как будто только и ждал этой сцены, и тут же получил легкий пинок ногой и забился в театральные конвульсиях, обкладывая голову мокрыми листьями.

– А мне потом стирать, – сказала жена, посмотрев на мужа с любовной укоризной.

– У нас же техника.

– Сынок, вставай. Ну! – сказала мать и запела весело, больше для мужа: – Наша жизнь – не игра, собираться пора. – Потом засунула руку за воротник Сени: – Вспотел, вымок. Это годится?

Отец, с намерением высморкаться, достал из кармана платок, из которого посыпалась мелочь, мимикрируя в палой листве. Со зверьковой проворностью мальчик бросился выгребать клад.

– Что упало – то пропало, – бормотал он. – Суки-прибауки.

В отчаянии от этой завалившейся за подкладку божьего пиджака сцены я бросился по вычитанному адресу, как будто там меня ждало спасение. По бокам, обгоняя, неслись листья. Казалось, это мелькают пятки белок и уток, которые сами почему-то решили оставаться невидимками.

Учреждение в уютном голубеньком здании с короткими пилястрами называлось «Центр по фиксации летальных исходов». На дверях написанный от руки листок: «Вход с собаками воспрещен!». Я решительно открыл пасмурного цвета дверь.

Едва я вошел, чучело совы под потолком полыхнуло желтыми глазами и заговорило голосом уставшего от любви мужчины:

– Вам, скорее всего, направо. Дежурную по летальным исходам зовут Алевтина Ивановна. Выражаем свои соболезнования и желаем всего наилучшего.

Глаза полыхнули еще несколько раз латентным огнем и покрылись бороздками пепла. Сова смотрела неприязненно, пытаясь осмыслить факт моей неподвижности. Хотя, если вдуматься, было это не так уж странно.

Я поспешил направо, к Алевтине Ивановне.

В коридоре мягко звучала музыка, сопровождаемая едва слышными кастаньетами ламп дневного света. Стены были оклеены бумажной замшей. Сверху свисали цветы, исполненные старческой эротики, вокруг них колебалось дыхание какого-то неочевидного запаха. Музыка продолжала звучать. Под ногами хмелел нестираемый палас. Я благодарно замедлил шаги, здесь хотелось поселиться.

Сферические аквариумы были заполнены внимательными верткими рыбками с царскими хвостами. Я впервые почувствовал к ним род душевного влечения. Не исключено, что нас роднила немота. Водоросли, исполняющие какой-то, быть может, японский танец, походили на воспоминание о печальном будущем. Это нас с рыбками тоже роднило.

Вдруг свет ударил из пола по краям паласа, люстры, горевшие до того вполне и почти невидимые, опустились, сова шумно спланировала на стол Алевтины Ивановны, и обе они скорбно преклонили клювы. Музыка смолкла, я почувствовал, что пришел.

Мастер по эффектам не зря жевал свой бутерброд с икрой. Тонкий психолог, душевная работа. Здесь посетитель должен был как бы заново пережить потерю близкого и в зависимости от средств договориться о его дальнейшем и наиболее благополучном устройстве.

Алевтина Ивановна, переплетя молочные ноги, закурила тонкую душную сигару и улыбнулась. На вид ей было лет пятнадцать. Гладко зачесанные волосы рискованно обнажили лицо с высоким лбом. За него было тревожно, как за эрмитажный фарфор, оставленный утром без охраны. При этом маленькая бледная бородавка над губой говорила почему-то о ненапрасном совместном пробуждении в уютной провинциальной гостинице. Но все же больше дочка. Упу-

ценная воспитанием и влюбленная в экстрим, однако сохранившая невинность девических идеалов. Сила наготы была ей, впрочем, тоже, несомненно, знакома.

Все это должно было внушить посетителю, что жизнь, противоречивая и притягательная жизнь, продолжается, и ему может еще что-нибудь обломиться, если он не будет слишком настаивать на своем, что уж там говорить, неизбывном горе.

– Фирма «Параметры» приветствует вас. Присаживайтесь. Не хотите ли рюмку коньяка?

– Нет, благодарю.

– Корвалол?

– Спасибо, нет. Дело в том, что я пришел к вам с не совсем ординарной просьбой.

Глаза Алевтины Ивановны понимающе закатились.

– Вас не затруднит дать мне сначала паспорт и свидетельство о рождении покойного?

Я протянул документы. Свет в полу стал потихоньку убывать; так уходит в воду закат, продолжая отражаться и отвлекать провололочкой не готового еще к ночи скитальца. Люстры поднялись, за окном стал слышен шум улицы. Кто-то сказал артикулированно, как в радиоспектакле: «За подсказку – с подмазкой». И машина рванула с места без глушителя.

Жизнь, похоже, действительно вышла из меня, остались от нее какие-то обрывочные сведения. «При чем здесь машина?» – подумал я. С Алевтиной Ивановной надо было, однако, объясниться толково.

– Понятно нам. Вы так похожи на покойника. Брат?

– Я и есть покойник. В этом и состоит особенность моей просьбы, – вскрикнул я, неизвестно почему волнуясь. – Может быть, мы с вами поговорим интимно?

– Мы с вами и говорим интимно.

Люстры снова опустились, и заиграла музыка. Это был перебор или просто сбой в механизме. Неуверенный в своих силах, я наконец сел.

Все теперь располагало к некоей повести, к изъятию чувств, то есть говоря иначе, к сентиментальному доносительству на себя. Тоскливая пора моего детского предпринимательства в шелухе осенней листвы и воровских сумерках, ты опять здесь! Войлочные, колкие внутренности разбитого кувшина и неминуемость наказания. Отец, ушедший без вести и без родственного успокоения. Да мало ли что жизнь еще натворила в бреде своего ясновидения!

Я заговорил невнятно и многоречиво, паразитируя на безличной доброжелательности сидящей напротив девочки.

– Как это вам объяснить? Я, может быть, пострадал за свою доброту и неутолимую общительность. Не сочтите только за жалобу – в моей ситуации это было бы смешно. Жалоба, впрочем, и всегда смешна. Но я привык ценить в человеке тайну, которая в то же время самая легкая добыча пошлости. Вот в чем дело. Это сложно. То есть напротив. Классики знают, что именно случайно оброненная фраза подхватывается молвой. Сначала она пускается в тираж легкими на ум борзописцами, деградирует и надоедает, как всякая услужливая красавица, становится даже предметом несколько высокомерных насмешек...

Сидящая напротив чиновная обольстительница улыбнулась при этих словах, как будто горькое мое признание было уже оплачено ее опытом, и теперь нам осталось только неутошно обняться. Такие гримасы всегда вдохновляют.

– А потом, – продолжал я в полете, – согласитесь, она непременно опускается в глубины так называемой народной мудрости, непременно опускается, и тут оказывается, что давно уже является частью ее, народной мудрости то есть, незыблемого фундамента.

Я почувствовал, что вспотел, и промокнул лоб платком. Значит, организм продолжал задним числом функционировать, хотя и не в лучших своих проявлениях.

В минуты волнения меня всегда начинало заносить. Бывало, что до конкретного предмета дело вовсе не доходило, и гвоздь, грубо говоря, так и оставался не вбитым. Собственная смерть была, в сущности, таким конкретным предметом, скромность и шепетильность в

обращении с ней выглядели нелепо. Уж здесь-то к чему это самоумаление? Но я продолжал кружить, увливая от рассказа о собственных переживаниях. Почтительно-фамильярные разговоры с классиками, видимо, и в этом случае казались мне важнее и, во всяком случае, меньше, чем я сам, были подвержены аннигиляции.

– У классиков, – продолжал я без прежнего пафоса, – на подобные превращения историческое чутье. Они сеют себе и сеют, продолжая в меру темперамента наслаждаться жизнью. Во мне же, вообразите, это живет таким глубоким убеждением, и я так всякий раз увлекаюсь, что неизбежно попадаю в какие-то дурацкие истории. Всё, получается, важнее, чем жизнь. Хотя так уж меня эта самая жизнь учила – никому не позавидую.

Был бы живой, затолкали бы меня сейчас в психушку. Как минимум – в вытрезвитель. Вот все, что я выгадал благодаря своей смерти: глупость моя стала ненаказуемой.

Вошла матушка, роняя с губ крошки и пугаясь теней. Приблизилась к цветам на подоконнике и, пользуясь обратным ходом пылесоса, стала их опрыскивать. Вот, значит, в каком «самолетном центре» она вечерами подрабатывает. Я обиделся:

– Мама, ты что? Я уже не могу с человеком один на один поговорить?

– Радио давно не работает, а вы всё говорите и говорите, – недовольно проворчала матушка.

Я посмотрел – окна действительно были наглухо затянуты мраком. Первый мой посмертный день исчез быстрее, чем в детстве мороженое. Не насытив и не удивив. Так вот как теперь будет!

– Прасковья Семеновна, – говорит моя визави, – цветы ведь искусственные. Их опрыскивать надо для сохранения баланса жизнерадостности и скорби в наших посетителях. А так-то им незачем.

– Значит, он тебе не посетитель, – прошептала мама. – Радио уже не говорит... – И стала смотреть в окно, в его померкшую бездну.

А оттуда продолжала доноситься жизнь. Одна баба пропела другой: «Он предложил мне плану, хоть и не был наркоманом». Интересные все-таки забавы у людей, подумал я.

Мне снова стало спокойно и уютно. Оставалось только договориться. Прижизненная необременительность этой затеи вдохновляла меня, а природные и должностные способности Алевтины Ивановны еще и подстегивали. Собственно, мне ведь ничего другого не нужно, кроме как зафиксировать свою смерть самым обыкновенным образом.

Матушку Алевтина Ивановна отослала собирать на газоне шампиньоны, вручив ей фонарик.

Но снова получилось все не так; дежурная, посмотрев на меня прозрачными глазами, сказала:

– Ваши документки пока останутся у меня – вам они вроде бы ни к чему? Ваша идея акционерному обществу понятна. Желаю и дальше здравствовать. Мы еще, надеюсь, приятно увидимся.

– Но как же вопрос с моей кончиной? – спросил я, удивляясь собственной настойчивости.

– Мы уладим этот инцидент. Вам ведь не к спеху? И потом, нам надо еще много о чем рассказать друг другу.

От этого нехитрого обиняка я чуть не ожил. Мне показалось даже, что у меня бьется сердце.

Алевтина Ивановна загасила с хрустом сигарку, как будто вкусно, с рассеянной детской жестокостью придавила шмеля, давая тем самым надежду на беззаботное, посмертное и, по существу, бессмертное существование. В этом чувствовался высокий профессионализм, который при жизни я часто путал с любовью. И так же, как при жизни в подобных ситуациях завозилось в душе сомнение: точно ли меня принимают здесь за меня?

Последний раз дома

Дома ждал развал, беспамятство и испуг. Не думал, что могу произвести на родных такое сильное впечатление.

Вещи стояли все не на своих местах. Но при этом как-то чувствовалось, что они не случайно здесь остановились, а находятся на пути к месту нового и на этот раз постоянного пребывания. Сервант с зазеленевшей трещиной на стекле вознамерился встать у окна. То же и мадонна на блюдечке, обычно служившем мне пепельницей, отмытая, косила куда-то в книжный шкаф. Мне стало грустно от этого поспешного изменения интерьера. Впрочем, подумал я, может быть, готовятся к печальному приему гостей?

Дети горько дохлебывали арбуз. Жена выбирала из уголков стаканчика сметану. День у них оказался не из легких. Зеркала были завешаны штопаными простынями. К моему уходу готовились.

– Никогда не думала, что это будет так страшно, – сказала жена, отбросив пустой стаканчик. – Так вот: есть, есть, есть и вдруг – нет. Как будто сон. Но сны ведь такими долгими не бывают?

Надо сказать, я обожал свою жену. Она была похожа на белокурую хрупкую обезьянку. Она умела приготовить точный, на обязательных тарелочках ужин, а ночами была ненасытима, изобретательна и при этом ненавязчива. Минуты покоя скрашивала отвлекающими разговорами и грустью. А утром умела быть молодой и ничего не помнящей. Например, принести чашечку кофе, сдуть шелушащимися губами пенку к краю и сказать:

– Вам уже не удастся убедить меня, что мы мало знакомы. «Тэ-тэ-тэ» – прошло. И «ля-ля-ля» тоже. Вас зовут Вова.

Нечего говорить, что после этих слов я приходил в новый утренний экстаз. Так мы прожили без малого четверть века.

– Ты ведь еще вчера доставал меня своими приставаниями и жаловался на фонарь в окне! Как же так?

– Честно говоря, сам еще не могу осознать, – ответил я.

– На кого ты детей оставил?

– На тебя.

– А я что – лошадь двужильная?

Я-то любил ее за то, что она совсем маленькая. В постели – одно воображение. Положишь в руку, и хочется плакать. Какая уж там лошадь! Я бессмысленно заходил по комнате, беря за чем-то то одну, то другую декорацию и ставя их снова на место.

– Пойми, на этот раз я ничего не мог поделать. Я даже старался, но у меня не получилось. Я пытался продлить эту муку, но у меня не вышло. Прости. Правда.

– Все неправда! Все!

На это я возразить не смел. Не пускаться же в рассуждения, что жизнь – вся выдумка и фантом, и трагическое скрещение неисполненных желаний. Вот ей еще в столь печальный момент эта философия!

Вошла мама, в халате поверх сорочки с бальными воланчиками. Вычислила слепыми глазами, где я.

– Ну как? Ты удачно ходил?

– В общем, да, – отвечаю. – Завтра обещали.

– Они в положение человека не входят. Если им не дать в руку.

– В лапу, бабуля, – поправил ее младший, отпав от арбуза.

– Ну, я и говорю, что надо... Муки для блинов купили?

Меня огорчила эта их будничная деловитость – речь ведь идет отчасти о духовном проишествии. Как будто не я, а они только что завершили дело жизни и теперь отдыхают в марципановой крошке.

– Что это вы все расслабились? – кричу.

– Батя, тебя чего так колотит? Прямо как Матросов...

– Может быть, вы уже и гроб заказали?

– С этим проблема. Пока все деньги на водку ушли. Обещали Максимовы.

– Ну да, у нас так обычно – сначала покупаем водку, потом заказываем гроб. Дайте выпить, что ли!

После первой бутылки я понял, что водка не берет. Что-то такое бывало и при жизни, но тогда я относил это на счет эйфории организма, мобилизованного, приблизительно говоря, удачным контактом с космосом. Тогда организм, удивляясь себе и дрящемуся контакту, пьет еще, еще и опять не пьянеет. Тут в нем восстает прежде не заявлявшая о себе гордость. Он выпивает снова, то ли для того, чтобы утвердить, по Кириллову, свое превосходство перед Богом, то ли, напротив, чтобы сойтись с ним ближе. В конечном счете, организм обнаруживает себя в другой поре суток, с плохо регулируемым чувством тоски и оскоминой миновавшего вдохновения.

Но у меня-то ведь теперь другая ситуация. Вероятно, я просто превратился в продырявленный сосуд – еще одна метафора посмертного существования. Немного хотелось философствовать, но это в моем положении было как раз более чем понятно.

– Вот тебе сюжет, – сказал я жене, – человек всю жизнь выращивал синий помидор. Вырастил. И что?

Уличный фонарь качался прямо за головой жены, поэтому казалось, что качается сама голова, скача по мне своей тенью. Это создавало ощущение нервного молчаливого разговора. Я подумал о маме, к которой не успел зайти ни перед смертью, ни после. Сколько вообще долгов оставил я в ушедшей уже от меня жизни!

Жена смотрела мимо. Я видел ее чистый, не постаревший лоб и изящный носик, похожий на перевернутую запятую. Близкий уже к состоянию гордости собой, выпил еще рюмку.

– Помнишь, зять умершую тещу положил в гробу на бок, чтобы она не храпела? – вспомнил я старый анекдот и первым засмеялся. Хотелось как-то подбодрить совсем поникшую жену, включить, так сказать, нашу печальную повесть в контекст светского порожняка. Рано или поздно все равно это произойдет, почему бы не мне первому проявить инициативу?

– Анекдот эпохи барачков? – сквозь невидимые слезы спросила жена. – Боже, как все переменялось! Клопы, и те вымерли. Скажи, у тебя что – совсем ничего святого?

– Дорогая, обо мне полагается говорить в прошедшем времени.

– Шут, – сказала жена.

– При чем здесь вообще идеалы? Как ты до сих пор не поняла! Буквально ничему не научили тебя наши разговоры до утра.

– В них было больше стихов, чем дела. Не говоря уже о деньгах, – заметила моя милая.

– Правильно. Согласен. – Я вдруг разгорячился, что проявилось в произвольном принятии еще одной рюмки. – Был такой грех. Но ведь сколько уже после этого было съедено и выпито горького.

Жена нервно захохотала, но меня теперь несло – свет истины, как бывало уже не раз, бил мне в глаза.

– Не надо только ни на что намекать, – шепотом, чтобы не разбудить детей, закричал я. – Тем более запоздало. К тому же я, при всех пороках, никогда не пренебрегал своими семейными обязанностями.

– Даже когда ушел ночью собирать землянику и забыл меня одну на платформе, а сам заснул под каким-то там кустом?

– Но я ведь заснул, я ведь заснул! Как же можно спрашивать с человека, который заснул?! А ты сейчас специально про все это, чтобы не услышать того важного, что я хочу сказать. А я тебе, если хочешь, вот что скажу: гипертрофия возвышенного всегда ведет к гипертрофической низости и, если хочешь, к аморализму.

– Не хочу, – сказала жена.

– Ну вот, ты опять! Что ты вяжешься к словам? Никто не хочет. Но таков закон. И именно так мы прожили большую часть своей жизни – головой в облаках, а ступнями в дерьме.

– Боже, как красиво! Если бы только ступнями...

– Не надо, не надо только представлять все так, как будто я тебе друг Кирсанов, а ты всю жизнь занималась анатомией. Все отдали дань. И было время, когда тебе это нравилось.

– К сожалению.

– Так ведь и я о том. Но я еще при жизни успел спуститься на землю. И я старался не брать на себя больше, чем мог, но зато то, что умел, делал честно. И мне сейчас ближе всех великих и героических афоризмов надпись на писсуаре: «Не будь самонадеян – подойди ближе». Это, если хочешь, мой девиз.

Симфония небывалого воздуха вплыла в мою душу. Много лет я искал инструмент волшебного звучания. Жалейка? Флейта? Бандура? Однажды включил телевизор – играл симфонический оркестр. Вот. Коллективное бессознательное.

Я стою в саду. Вокруг меня сырая, уже обносившаяся осень. Небо, откупившись птицами, погасило синеву и спит. Мамонты шумно бредут куда-то в сторону бывшего ипподрома. Зеленый рак в окне пивной поднял клешни вверх и замер. Хозяйка обтирает его тряпкой, успокаивает. Тяжело мерцающая Фонтанка вдруг изогнулась около Свято-Троицкого собора и потекла мимо его голубых гуашевых куполов.

Припозднившаяся девочка стоит в другом конце сада и ждет, когда пройдут мамонты. В ее коленях дрожит восторженная газель. Она без пальто, в коротком платьице, как будто вышла на минутку с мусорным ведром, пока остывает чай. То и дело откидывает мешающую ей смотреть на меня челку. Я подбрасываю ногой сырно пахнущие листья, пытаюсь справиться со слезящимися от долгого смотрения глазами. Мамонты не злые, но их поход бесконечен. Нам с девочкой не встретиться никогда.

Темнеет.

Потом, помню, я заболел, как провалился в вату. Иногда выныривал и пел: «Есть море, в котором я плыл и тонул и на берег выбрался – к счастью». «К счастью» было не вводным словом, а неким существом, которое ждало меня на берегу. К нему я и выбрался. Не уверен, что это была женщина. Может быть, фисгармония производства «Циммерман», которая стояла у соседей и которую я безуспешно клянчил у мамы. Я любил светлого дерева виноград над ее клавишами, вращающиеся подсвечники и звук, одухотворенный астмой. Когда ее основание заметно источили жучки, она на ковре, через длинный барачный коридор перебралась, наконец, в мой угол.

Бурно и любовно я овладевал ее тайнами, вдохновенным слухом преображал в чистоту звучания поврежденные звуки. Старенький инструмент трудился вместе со мной, страдая об утерянном совершенстве. Отец заливал микроскопические норы жучков остро пахнущим раствором, но через какое-то время узорчатая труха, сохраняющая первоначальную форму деталей, вновь оживала. Однако и при этом смертельном недуге фисгармония вела себя мужественно и как настоящий музыкант продолжала служить искусству. Мы достигли с ней небывалых высот, не выходя из-за вишневой занавески, объездили с гастролями весь мир, где

нас неизменно встречал успех и слезы восторга. Годам к четырнадцати, когда я почувствовал себя мастером, готовым выйти к настоящей публике, моя подруга умерла.

А девочка – неужели ждет? Вон уже снег выпал. Мамонты раздувают хоботами костры или спят на ипподроме, до которого нам с мамой так и не удалось дойти.

Приговором моей ненародившейся любви были голоса дикторов. Стоило мне услышать: «В 19.20 – радиоспектакль “Ты меня на войну провожала”» или «В кинотеатре “Победа” смотрите фильм “Дорогое мое чудовище”», и я понимал: никто не звал меня, чтобы я родился. И я, кому почему-то казалось, что его звали, настолько смешон и глуп, что у серьезных людей могу вызывать только презрение.

Я первым вдохновенно начинал вызывать в себе это к себе презрение. Одновременно с ним и уже непроизвольно возникала жалость. Для демонического высокомерия и отрешенности дух еще не созрел, но они витали где-то рядом. Однако, как бы все это не разрешилось, с девочкой из сада мы уже никогда хорошо не встретимся, потому что я отравлен. Я это понимал.

В комнате темно. У меня температура. Тени кактусов на занавеске – высокий тропический лес. По нему ползают божьи коровки, огромные, как черепахи. Сейчас с улицы на подоконник вкатится маленький уличный троллейбус, обронит на пол лиловые искры, я схвачу со стола тряпку и буду гасить их.

Через несколько лет я встречу эту девочку и в подростковом мистицизме решу, что она ждала меня все эти годы, не желая вырастать и храня себя для певца и создателя...

– Ладно, – сказал я, – лишь бы со всей это мусульманской братией договориться. Иначе никто не дотянет до оледенения.

И вдруг заплакал.

Жена сидела напротив и улыбалась внимательно, будто видела что-то поразившее ее, что происходило за моей спиной, на другом берегу. Ее печаль была продолжительнее, чем моя.

– Можно, я буду приходить к тебе по четным дням? – спросил я. – Или ты предпочитаешь по нечетным?

Утренний звонок

Пьянство очень все же отвлекает от личной жизни. Первое, что представилось мне, когда я проснулся, – Верхняя Вольта, утыканная ракетами. Даром что африканцы, а все как у нас. Все почему-то недовольны и сами с собой не могут договориться. Распускают Национальное собрание, потом снова его собирают, затем снова распускают. Отменяют конституцию, потом, опомнившись, восстанавливают, но при этом запрещают все политические партии...

И что, казалось бы, – козы и барашки пасутся на волнистых плато, климат экваториально-муссонный, арахиса, как у нас репейника, и поливать не надо...

Не пойму, откуда в моем мозгу возникло сразу столько необязательных сведений? Так же, как и то, почему на столе у меня лежит русско-молдавский разговорник на латинице. На миг показалось даже, что именно это обстоятельство и было предзнаменованием мрачного события, которое произошло вчера. Будто этот разговорник попал ко мне из того времени, когда дружбы народов у нас было больше, чем магазинов, а в обкомы набирали исключительно немых ребят.

Собственная же ситуация меня как будто вовсе уже не волновала. Вот то, что я пережил такое количество американских президентов, – да! Это как же они состязались в свободном мире, сколько извирались, людоедствовали, интриговали, умирали!.. А я все жил в тишине своего непорочного государства, иногда только отвлекаясь на стоны и выкрики моих более доблестных, но почему-то душевно не близких собратьев. Все, так или иначе, творили историю, в то время как я, примерно, варил кашу. Одни давно уже и вполне помпезно попрощались, другие в политическом забвении пересчитывают нажитое. Я же, глядевший в шелку на их неплохо организованный базар, вот он, только-только ступил на последнюю дорогу. Но кому придет теперь в голову вспомнить меня? Ни Карибского кризиса за мной, ни трактата о конвергенции, ни «Будденброков», ни лагерей, ни самосожжения. Посчастливилось бы, на худой момент, наткнуться на останки Атлантиды или раскопать Трою, однако и эта удача прошла мимо. Вот во что, выходит, обошлось мне мое презрение к деятелям жизни.

Комната напоминала просторный склеп фараона, но без скарба и провизии, необходимой для вечного путешествия. Был бы лимон или стакан пива. Без меня, конечно, никто об этом не позаботился. Жена, вероятно, стояла уже на углу Гостиного и созывала ошеломленных туристской гонкой на обзорную экскурсию. Скатерть на столе пахла общественной столовой, через которую каждый день проходили ненасытные народы. Уют жене только снился, взгляд ее всегда был устремлен к людям. Надолго загипнотизировали нас походные костры и хоровое пенье, которые мы так любили в юности.

Ни лимона, ни пива. Дети спали в позе титанов, прогуливали школу на законном основании. Я опять остался один.

Но в этот момент зазвонил телефон.

В трубке был женский плач. Я помнил его еще с тех пор, когда все деревья были большими. Это был плач соседской хозяйки в поселке Дудергоф, где мы снимали дачу.

Меня привозили на дачу рано, когда пена сирени поднималась на глазах и пышно выпадала за ограду. Я задыхался от этого зрелища. Теперь мне кажется, что это был первый мой опыт общения с алкоголем или, быть может, первый опыт любви.

Постепенно сирень взрослела, начинала горделиво подставлять груди неожиданно выпавшему дождю, заглядывала, тарашась, в глаза. Потом опоминалась, уходила в себя, вальжничала и в конце концов медленно осыпалась поржавевшими звездочками на совсем еще молодую, попионерски напрягшуюся траву. Я всегда пропускал этот момент, потому что задолго до него сирень становилась мне не интересна.

Выпавшие птенцы пищали о милости. Я поднимал с земли эти по-рентгеновски незащищенные, с короткой, как бы послетифозной опушкой существа, поднимал с брезгливостью, жалостью, страхом и переносил на стол в беседке.

Воздух вечерами волокнился и клубился, как льдинки в сиропе. Быстро холодало. Мама занимала меня оладушками со сгущенкой, а Фаина Николаевна в это время плакала на веранде, пеняя мужу-биологу, что от него пахнет неизвестными духами. Тот смеялся, уверял, что это формалин и что не сегодня-завтра они найдут секрет искусственного оплодотворения, в свете чего ревность перестанет существовать как факт. При этом Игорь Николаевич то и дело подливал себе в маленькую рюмку водки и расстегивал одну за другой пуговицы рубашки.

Я завидовал увлекательной жизни соседа, в которой ничего не смыслил.

Иногда Игорь Николаевич заходил на нашу половину дома, смотрел на нас с мамой серозелеными, раскрашенными водкой глазами, что-то искал в светлой бороде и вдруг говорил:

– Ах, простите, я забыл, что вы оба не курите.

От оладушков он отказывался, изысканно и непреклонно, как от дорогого подарка, и тихо, не поворачиваясь к нам спиной, уходил. А мама еще долго сама себе усмехалась, расточительно заливая мои оладьи сгущенкой.

Все эти воспоминания пронеслись во мне в одну секунду, как только я услышал в трубке плач Фаины Николаевны. Сколько прошло!

Игорь Николаевич не решил, конечно, задачу искусственного возникновения жизни, но на пути к ней открыл многое, хотя и не поднялся, кажется, выше доктора наук.

И вот звонок.

– Фаина Николаевна, я узнал вас. Что случилось?

– Игорь Николаевич, – всхлипнуло и зарыдало в трубке. – Костик...

Я вспомнил не к месту, что с годами у Фаины Николаевны появились удивительные ямочки при локтях – в каждую можно было положить по сливе. И веселый, блуждающий взгляд, миновав пору бесчинств и ошибок, превратился в скорбно влюбленный взгляд верной спутницы великого человека, которая одна знает и способна заплатить цену его успеха. Глаза ее при этом стали часто моргать, как будто пытаюсь вернуть утерянную картинку мира. Следствие катаракты. Но губы до сих пор производили неперевожимую улыбку, а закаменевшая под лаком прическа-взрыв не обещала прощения.

– Костик, ты ведь скажешь на его уход свое, м-м-м, неординарное, прочувствованное слово. Я не представляю, чтобы он ушел без этого.

К патетической чувствительности вдов я привык, как к туалетной бумаге (простите). Профессия, увы, на каждом оставляет свой отпечаток (хочется сказать: палец; опуцу). Но Игоря Николаевича я действительно жалел. Мне казалось, что и после моей смерти он будет щелкивать с волос и с плеч слепых мотыльков, улыбаться, как улыбаются рыбаки после улова, и подливать в рюмку водки. Похоже, это немного примиряло меня с неизбежным концом, о котором я, конечно, имел тогда приблизительное представление. Как все кумиры детства, Игорь Николаевич был бессмертным.

– Фаина Николаевна, я вам очень сочувствую. А Игорь Николаевич... Это даже не произнести. Какой ужас! Мне казалось, он должен был уйти позже всех нас или совсем не уходить. Ему так шла эта жизнь.

Что я несу, Господи?!

– Ну конечно, Костик! Вот именно – об этом. Только ты это сумеешь.

Рыдания становились невыносимыми. Они падали в трубку мелкими порциями кефира, и конца им не предвиделось.

– Но выполнить вашу просьбу мне, к сожалению, не удастся. Дело в том... как бы это поточнее... я тоже в некотором роде... уже отсутствую.

Ах, как не хватало лимона и пива, чтобы обрести ясность и мужественность речи. Что же могло быть проще того сообщения, которое я вынужден был сделать? Но в моих онемевших устах оно звучало фальшиво, не сомневаюсь. Даже эта, последняя из презентаций мне не давалась.

– Костик! Что за ненужные отговорки? В такой ситуации! – в голосе Фаины Николаовны появились нотки хоть еще и надрывные, но уже переходящие отчасти в борзый лай – она явно овладевала ситуацией. – Взгляд... его взгляд... Он всегда был не с нами. В какую-то даль всегда уходил его взгляд, будто (не знаю, поймешь ли ты?) что-то искал на постоялом дворе марсианина. Даже я не всегда умела проследить за его убудившимся взглядом. Ты пойми, он ведь был единственным из ученых, кто верил в существование души.

– От чего он умер?

– От защемления грыжи. Всё искали повторного инфаркта, а он умер от защемления грыжи. Как всегда у него – неожиданно и парадоксально.

Поверите ли, что этот прозаический диагноз нанес мне глубочайшую обиду? В свои семьдесят три года Игорь Николаевич должен был решиться на первый прыжок с парашютом и погибнуть в свободном полете от разрыва сердца – не меньше. Не мог он так бесславно кончить. На миг мне показалось даже, что всё это козни Фаины Николаовны.

Я воспитан в пугливом почтении перед медицинской латынью. В сочетании с плебейской гордыней – смехотворно-опасная смесь. Недели за три до моей смерти доктор Степан Павлович, с мшистыми бровями, поставил мне диагноз: артрозо-артрит. Содрогнувшись от предчувствия неизбежного, я посмотрел на него с невероятной твердостью и спросил: – А если серьезно?

В трубке рыдало:

– И вот это безвременное, безвременное... К тому же, он так тебя любил.

«Это я любил его так, – захотелось сказать мне, – а он любил мою маму».

Степан Павлович был платным врачом, поэтому не только обходительным, но и расточительным, за мой счет. Он тут же прописал мне рентген, массаж, академическую мазь, УВЧ и УФО (лет двадцать назад я непременно прибавил бы: а также Дефо, Ду Фу и Басё). Я принялся откладывать деньги.

– Фаина Николаевна, но я ведь тоже не спешил, знаете, к этому... последнему пределу. В сущности, преждевременная неприятность, к тому же финансово необеспеченная.

– Ах... Ну конечно, какие разговоры! Я заплачу. Хотя он к тебе так хорошо относился.

Фаина Николаевна была женщиной приятной во всех отношениях, кроме тех, в которых была превосходна. К последним относилось ее безукоризненное чувство ситуации. Но горе сбивает, видимо, даже природную настройку организма. На этот раз она поняла меня превратно.

– Да я ведь вам говорю, что меня нет. Не похороны же вы мои собираетесь оплачивать!

– Что, что похороны! Это все пустяки. Ритуал для чужих, Костик. А он был таким верным, неистовым и трудным человеком.

Она внятно надиктовывала мне конспект радионекролога. Человек я терпимый, может быть, даже слишком, но профессия есть профессия.

– Я позвоню вам с радио.

– Костик... Костик... Он ведь говорил, что самая малюсенькая клетка содержит в себе больше четверти миллиона молекул. Как это умещалось в одном мозгу?

Все это я почему-то сразу перевел на рубли, как, не сомневаюсь, и Фаина Николаевна. И повесил трубку.

В ожидании Суда Небесного. У меня появляется надежда (хм!)

Птицы давно проснулись и шныряли у земли в поисках второго завтрака. Я как всегда опоздал. Небо было отмыто до чистоты Юоновой лазури, которая стала почти звуком. Уши заложило, глаза слезились от слепящего грохота и блеска. Из «Салона красоты» вышел мужчина в живой пыжиковой шапке и недоверчиво посмотрел на меня.

Дом с пилястрами на этом празднике весны выглядел непрезентабельно, как стационарный смотритель, некстати приехавший в гости к дочери. Бросалось в глаза, что он стар, немного кособок, и давно нуждается в ремонте, который, как тут же выяснилось, и шел полным ходом. Народ, всегда в межсезонье одетый пестро, волновался у негостеприимно распахнутой двери. Окурки в лужах сопротивлялись легкому бризу, и казалось, что плыли. Митинг был в разгаре.

– Только так говорится: счастливо и в один день, – вскрикнула старушка и почти упала в подмышку своего мужа. Пальто «летучая мышь» обвисло на ней, седая головка в малиновой шляпке и пальцы, скребущие сумку, едва из него выглядывали. – И зачем ты за мной пошел, Гриша?

– Не плач, Фрося, – высокий старик наклонился над спутницей жизни. – Душу мне царапают твои слезы.

– Ну что же это, и после смерти пороги обивать?

– Мы и здесь, Фрося, вместе. – У старика было худое умное лицо, которое, быть может, только вчера утратило свою четкость.

– Безобразие! – сказала неопределенного возраста дама, зарделась и дунула на траурную мушиную вуальку. – Они полагают, что с мертвецами можно поступать, как с покойниками. – В ответ на этот провокационный возглас люди заговорили разом и неразборчиво. Голова каждого была окружена утренним светящимся нимбом; вместе они образовывали конструкцию опасного нагревательного прибора в прозрачном корпусе.

Душа моя, обычно откликавшаяся движению толпы, на этот раз осталась безучастна. Вопреки очевидному я был уверен, что меня ждут.

Проникнув самым нечувствительным образом сквозь скорбную группу, по доскам, проложенным через мартовскую бездну, я вошел в гулкий предбанник. Девушка в газетной пилотке, повернулась ко мне от мешка с цементом:

– Еще ВИП пожаловал. В то окошечко, гражданин. Если, конечно, вам положено.

Я направился к народному окошку, которое, как все такие окошки, было закрыто, и уже хотел было постучать, но та же девушка остановила меня:

– Звоните. Кнопка справа. Звоните. ВИП, а не знает. Что за люди? Или ты по благу?

До чего живуча классовая недоверчивость, подумал я, и одновременно готовность установить фамильярный контакт, за которым следует то же классовое верховенство. Щеки у девушки были ярко-кирпичные, как будто до возни с цементом она разбивала в печке прогоревшие поленья. Вызывающие щеки и улыбка заядлой маевщицы; наверняка после первой рюмки она изменяла направление своего общественного темперамента, тащила танцевать того, кто попадался под руку, чтобы при первом же волнующем сближении обнаружить в нем общность взглядов и интересов. В чем-то мы были похожи, но смерть всех делает чуть аристократичней.

– Вы могли бы оставить меня одного? – попросил я.

– Ой, ой, геморрой!

Легко подкинув ведро с цементом, она все же удалилась туда, где еще вчера я так, казалось, перспективно беседовал с Алевтиной Ивановной.

Над домофоном со знакомым мне профилем совы висела табличка: «Пункт реабилитации пострадавших от жизни». В формулировке чувствовался скрытый пафос, интонация хорошо оплаченной сердечности и явно преувеличенного представления об особой незащищенности номенклатурных лиц. Классовая непримиримость маевщицы была, конечно, реакцией на эту печатную интимность. Я нажал на кнопку.

– Оставьте ваши координаты, с вами свяжутся. У вас двадцать секунд.

С радостным волнением я узнал голос Алевтины Ивановны.

– Алевтина Ивановна, – закричал я в домофон, – это я, Костя! Константин Трушкин. Тоже Иванович. Мы с вами вчера не договорили. Я по личному делу. Мне нужно свидетельство о моей кончине. Помните? И, собственно... Если, конечно, у вас будет время...

– Спасибо, – прервал меня механический голос.

Меня не слышали. Это была не Алевтина Ивановна. Это была Алевтина Ивановна, но из компьютера, то есть разговаривала она не со мной, а вообще. А я с кем тогда говорил, перед кем, можно сказать, оголялся? Всегда так: когда просят вывернуть карманы, я начинаю изливать душу. Ничто ничего в человеке не меняет. Даже смерть. Глупо. Как будто шел с поющими птицами за пазухой, а попал на заседание трибунала.

Только тут я обратил внимание на список, который висел около домофона. Посетителю предлагалось сообщить о себе следующее: ФИО, имена трех поручителей, членство в партии (подпункт: сочувствующий), чем занимался в августе 91-го, отношение к воинской повинности, любимое увлечение, цвет, газета, музыка, женщина (в скобках: мужчина), литературный герой, время года. И в конце крупно: ДИАГНОЗ.

И все это за двадцать секунд? Мне давно казалось, что жизнь человека, даже самая долгая, может уместиться в короткий рассказ. Но чтобы такой спринт? Все люди, конечно, сестры, как любил на наших профессиональных и, в основном, женских вечеринках тостировать Тараплин, но не все при этом сестры таланта.

Однако я решил взять себя в руки. Никаких сантиментов и в то же время поблажек. Допрос? Извольте. Не в санаторий прошусь. Пока свободой горим и так далее.

Я снова нажал на кнопку и после приглашения Алевтины Ивановны начал выпускать обойму:

– Объясняю. Трушкин Константин Иванович. Поручители: Пушкин, Сахаров, Христос. Не состоял, не состою, не сочувствовал, не сочувствую. В августе 91-го боролся с крысами в городе Невельске. Отношение к воинской повинности отрицательное. Любимое увлечение: портвейн на природе. Цвет – желтый. Газета – в сортире и под обоями. Ария Фигаро. Женщина, которую люблю сейчас. Любимый герой – капитан Миронов. Время года – переходное. Диагноза не знаю. А вы?

– Спасибо, Константин Иванович.

Мой кураж сдулся и погас. Выходит, меня слышали? Алевтина Ивановна?

Тогда, что значит «спасибо»? И есть, наконец, в этом мире обратная связь, или ее нет? «Константин Иванович»! Непременно слышали. Значит, все же индивидуальный подход?

Теперь «индивидуальный подход» – это рутинный сервис и педагогики, в любой лавочке вас встретят радушно, как родственника с кавказских небоскребов. Хотя и этот эксперимент не был у нас доведен до конца. Потому что уже через минуту могут и послать, если как следует принимаются. Доброжелательность еще не вошла в гены, и разбудил работника просвещения среди ночи: «Правда ли, что личность человеческая является абсолютной ценностью?» – можно и в рот полукнуть.

Я еще несколько раз с силой нажал на кнопку. Домофон молчал. Нет хуже, когда дух протеста или хотя бы просто подгулявшего юродства вдруг сталкивается с лицом. Неловко становится за свою нескромность и размашистую беспощадность. Лучше все же знать заранее, перед кем ваньку валяешь. В этом случае особенно – заранее лучше.

Мне тут же захотелось объясниться с Алевтиной Ивановной другим тоном.

– Обесточен дом, зря стараетесь, – снова появилась классовая догматистка. – Нам нельзя под напряжением работать. На прошлой неделе одного уже утараканило. Люди на тот свет так и бегут.

В неисправной технике мне всегда чудился личный произвол и равнодушие. Иногда даже Того, Кто то ли волосы на наших головах считает, то ли и нас не успел еще толком разглядеть.

– А чего бегут-то? – спросил я.

– Так жить, наверное, надоело. Технику безопасности не дураки сочиняют.

– Что же во мне такого бластного? – Меня, видимо, тяготило еще и это недоразумение.

Уйдешь от людей, и останутся от тебя одни превратные впечатления.

– Да вы не расстраивайтесь. Приходите завтра часов в семь. Пока то да сё. Ток будет.

– А танцы?

Пошла возвратная волна вчерашней алкогольной эйфории. Она уйдет быстро, и жить сразу станет трудно и неинтересно, не лучше, чем рыбке на берегу. Я знал это точно.

– Эта где сидит? – показал я на домофон. – Разве не у вас?

Девушка посмотрела на меня с такой улыбкой горькой и терпеливой жалости, с какой самоотверженный дефектолог смотрит на пациента-дауна.

Всё! Мосты сожжены! Приливная волна шла еще на меня, я почти захлебывался.

«Братья по недоразумению!» – крикну я сейчас ожидающей меня толпе. – Дорогие калеки! Задумчивость – рыбацкое свойство, мысль о мысли, которую хочется поймать на голый крючок. Конечно, рыбка несъедобна. Но это праздное соображение. Младенец заглатывает соску, как титьку неба, в котором все дары и ароматы бессмертия. Теплая туча воркует над ним. Дети мои, как сказал Джамбул. Милые мои смертники. Небеса всегда подставляли вместо себя кормилицу. Мозг отцвел. В голых кронах плуτούν одышливые бабочки, разгребая от пепла вечную синеву. Босая любовь мнет виноград, счастлива нашим безумьем. Плоскостопие мечты освобождает ее от долгого похода. Поэтому она и обзаводится крыльями. Еще по одной?»

Но вышло все не так...

Курицы перед грозой выглядят менее растерянными, чем эти люди, в ожидании Суда Небесного думающие о том, как получить в этот суд повестку, потому что знают, что никакие небесные силы без этой повестки не станут ими заниматься. Как всегда в минуты народных смут разговор то и дело сворачивал на политику.

– Производства легли, а мы всё поем, – сказал молодой разночинец, зло выглядывая из запотевших норок очков.

– В компьютере искали? – тихо обратился мужчина с внимательным, бухгалтерско-профессорским профилем к мужу Фроси.

– Они по черныбыльским дням стирают информацию. Вирусы обновляются каждый месяц.

– Я не против петровских реформ, – снова попыталась отогнать вуаль дама. – Но, коли дело дошло до всеобщей и полной компьютеризации, – тут я славянофил. Пусть лучше будет коммунизм.

– Вы скажете тоже, – улыбнулся муж Фроси.

– Я скажу. Да.

Тут я заметил, что в стороне, на покрытом гарью сугробике, стоит группа поменьше, и парень в офицерском бушлате записывает что-то на бумажке. Я двинул к ним.

– Есть варианты? – спросил я, заглядывая через чье-то плечо, вставая на цыпочки и чуть-чуть подпрыгивая.

– Варианты всегда есть, – ответил тот, не поднимая на меня взгляда.

– Подождите, мужчина, – запротестовала вдруг женщина с молодой сединой и почему-то с рюкзаком за плечами. – Вы ведь только подошли. А осталось всего два места. – Я подумал, что и при жизни она пребывала всегда в состоянии ажиотажа и нервной соревновательности, поводов для которой у нас не надо искать. И при этом руководило ею конечно высшее, быть может, еще комсомольское чувство справедливости.

– Я вообще с ночи стою. Почему сразу не сказали? – подбежала, оскальзываясь, дама. Вуальку, по такому случаю, она засадила на шляпу, и черные проталины ее глаз заставили вздрогнуть даже этих, не самых счастливых на сегодняшний день людей. – А я уже больше не могу. Каждую ночь он приходит ко мне и просит еды. Мама, говорит, ну что, тебе жалко?

– Вы о ком?

– Сын. Он в Чечне погиб. А гроб раскрыть не разрешили. Я хочу к нему. У меня уже приготовлено всё его любимое. Он поест и успокоится.

– И обратно – очередь. Совсем довели страну, – это разночинец. К сугробу все же потянулся и он.

– Я записываюсь, – решительно сказала дама, растирая по лицу слезы, как будто это был дождь.

– Да погодите вы! – снова женщина, которую очень молодила седина. – Уж если по справедливости, то места надо отдать этим вот старичкам.

– Пусть в Смольный ходят без очереди, – выпалил кто-то горохом.

– Да уж, ветеранов теперь и в магазинах не пропускают, – вздохнула дама, и было непонятно, кому она в этом случае сочувствует.

– Вы-то чего так на тот свет торопитесь? – сказал разночинец. Говорил он, не открывая рта, из чего явствовало, что при жизни у него не было ни времени, ни денег на дантиста. – Молодая, красивая. Накормить она хочет. Это же смешно!

– Хам! – дама неожиданно смутилась, и вокруг ее носа отчетливо проявился белый треугольник.

– Сколько? – спросил между тем разночинец.

– Десять, – ответил офицер. – Дальше не знаю, это уже не со мной.

– Десять? Это балл!

– Кому дорого, есть фирма «Последний срок». Идите туда.

– Я была, – сказала дама, снова опустив на лицо вуаль. – Там хорошо. Живая музыка и все такое. Батюшки молодые. После кремации белую голубку из преисподней выпускают. Но там без свидетельства ничего. Только горсть земли с родины. Тысяча за пакетик. Я купила. А так ничего.

Час назад я не мог подумать, что больше всех из друзей по несчастью мне станет жалко эту коммунистку с душой белого голубя.

Умершая в один день пара уже выпотрошила старухину сумочку и протягивала офицеру деньги.

Почувствовав, что траурный поезд на этот раз уйдет без него, разночинец скривил лицо в нигилистической ухмылке:

– Слушай, а у тебя контакт с Самим, или приходится архангелам отстегивать?

– Да вы, наверное, самоубийца?! – возмущенно воскликнул муж Фроси.

– Смешно. С собой кончают люди, лишённые чувства юмора. У меня с этим в порядке.

– Если в порядке, чего же ты с нами толчешься?

– Я никого не заставляю, – просто сказал офицер в бушлате. И добавил, показывая на меня и даму с вуалью: – Могу взять еще у вас двоих. Но не ручаюсь. Вечером надо созвониться.

Странно, никто не зароптал. Все смертники стали вдруг рассеянно смотреть по сторонам: на смелых птичек, лезущих под ноги, на солнце, которое начало уже припекать. Все как-то сразу почувствовали, что Радий Прокопьевич (так звали человека в бушлате) не только облечен

полномочиями, но обладает и еще более таинственным правом: разделять людей по одному ему известным качествам и незримым превосходствам, которые в этой ситуации были важнее других, видимых. Как ни понимал я, что горе и у всех стоящих здесь одинокое и особое, но выбор Радия Прокопьевича был мне приятен и казался заслуженным. Он отчасти совпадал с моим, потому что ведь и сам я только что искренне пожалел даму с вуалью, которая сначала представилась неприятной.

Деньги при мне были, я догадывался, что путешествие не будет бесплатным. Когда мы с Радием Прокопьевичем обменивались телефонами, сквер был уже пуст. Я пожалел, что не успел выразить дружеского соболезнования даме в вуали. Но нам, похоже, еще предстояло увидеться, ведь оба мы были сверх лимита.

Снова стало одиноко, но грело чувство удачно оформленной сделки, и путь не казался пройденным: до того как прозвучит последний аккорд, оставались еще необходимые дела и заботы. Наш с дамой вагон стоял пока не прицепленным.

Сквер колыхался над головой, как утренняя, косо освещенная люстра. И жить так хотелось!

Перформанс: маленький человек

В этом звонком состоянии почти уже устроенного будущего отправиться бы куда-нибудь в лесопарк, кормить уток и дергать со дна реки золотых ершей. Сколько времени выделено! Дома запечь ершей в духовке, снимать с них, пригласив детей, колючие панцири, подкидывая лучшие, еще дымящиеся экземпляры жене. А вечером уж позвонить Радию Прокопьевичу. Может, и не получится еще у него, не бог все же. Успеем тогда договорить обо всем, успею наставления дать и распорядиться: кому рубашку, кому костюм, диктофон «Sony», фонарик с компасом, авторучку с фонариком, кусок малахита, миниатюрный бронзовый иконостас, медаль «Голос сезона». Полное собрание книг рукой огладить и каждую сопровождать напутствием. Расспросить маму о своем и ее детстве. Вернуть жене письма; почитали бы вместе, заплакали, поделились угрызениями совести. Тогда уж можно и расставаться.

Но надо было идти на радио.

Я, однако, пошел не напрямую, а через тихие улицы Коломны, изредка поднимая взгляд на кариатиды, которые смотрели на меня в упор. Не им бы укорять меня! Тоже, конечно, не отпуск, но все же на людях и при деле.

Нельзя сказать, чтобы я оставлял мир с чувством, что вот не успел закрепить в нем какой-то болтик, провести последний штрих и, пожалуйста, хоть сейчас в гости к Лауре, если бы она вдруг снова поблажилась: «Примите благосклонно сей бедный плод усердного труда». Нет, мир давно, а сейчас особенно, представлялся мне чем-то вроде перформанса, и давно я подыскивал в нем местечко для себя. Как-то раз показалось даже, что нашел.

Это был перформанс посвященный чеховской «Чайке», вернее, одному из персонажей, Якову-работнику. Никто, наверное, и не помнит такого. По сюжету, он действительно как будто не нужен. В пьесе у него всего две реплики, кажется: «Удочки прикажете укладывать?» и «Мы, Константин Гаврилович, купаться пойдем».

Но Чехов не от большой ведь головы ввел этого Якова. Масса людей мучается, сходит с ума, любит, ненавидит, стреляется из-за отсутствия смысла жизни, и рядом – человек, совершенно не замороченный высшим, материальная основа пьесы, да что там – всей жизни, всех ее маний и фобий. Во-первых, он – работник, во-вторых, он – Яков, в-третьих, как бы это сказать, он производит минимальные подвижки в пространстве: не хлопчет, не влюбляется, не воспаряет, не ревнует, но он – нужен. Авторов интересуют вещи и поверхности. В инсталляции использованы плесень, следы от чая и вина, умерший и проросший горох. И все это прочно закреплено на металле. На Якове-работнике держится мир.

Однако желание превратиться в маленького человека – своего рода мания величия, присущая так называемым интеллигентам. Какой я, к черту, Яков-работник? Рубаху надеваю, не расстегивая манжет. Гречку перебирать, завязывать шнурки на детских ботиночках – вот самое мое дело. Неуютно было жить с такими руками под статуей Рабочего и Колхозницы.

Теперь, впрочем, и этого символа над нами нет, все только продают или покупают, и мои ювелирные руки никому не режут глаз. Но от этого стало почему-то еще тревожнее, будто лишился я прописки и даже конкретного презрения не достоин. Еще меньше понимаю, кто я, собственно: крайний слева на фотографии миллионов (лицо не установлено) или голос сезона, автор несуществующих романов, напичканный комплексами, горький плод безотцовщины или отломившийся от отца осколок, несущийся вслед за ним по его орбите в неизвестность? Чем был усыпан путь мой?

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

Дом на воде

Отец. Беспокойные ритмы

Об отце надо мне рассказать особо, потому что именно он, вернее, его внезапное распыление в пространстве и времени, было причиной бюрократической болезни, которая поразила меня еще до моей смерти.

Был он краснодеревщиком, ремесленной элитой, почти художником, и того, как раз, цеха, к которому равно благожелательны ветра всех времен. По крайней мере, за свой достаток он мог быть спокоен при любом карауле.

В эпоху пчелиных новостроек и мебели, с ее стилем гладких поверхностей, экономных линий и комбайновой компактности – кресло-стол, откидная кровать, раздетые до рожков люстры, в эпоху строя и спортивной униформы, когда и сами дома, и одежда, и убранство квартир отличались только номерами инвентарных бирок, отец и его бригада делали на заказ барочную мебель, и отбоя от этих заказов не было. Объяснить этот парадокс мог бы, наверное, суд, если бы линзы его не были настроены на другие объекты. А только я с детства усвоил, что не всякая видимая жизнь – видимая, и даже в советском равнинном равенстве существуют оазисы неподотчетной роскоши.

Сначала строили из дуба, потом из ореха, сначала только с гнутыми ножками, вьющимися стеблями и плотно отобедавшими купидонами; но заказчик борзел, наливался, требовались уже венки, раковины, тяжелые фестоны, в которых при переносе света играли бы итальянские тени, картуши, то с самодельным гербом, то с латинским изречением, в котором жизнь представляла *sub specie aeternitatis*¹. Сами эти вечные формулы, напоминающие свежие эпитафии, заказчики брали из словаря иностранных слов, который как раз тогда вышел.

Отец мыслил гарнитурами, даже интерьерами, потому что помню, как ругался с кем-то по телефону и, кипятясь, доказывал, что жаккардовая ткань отправит в могилу весь замысел и что нельзя злоупотреблять венецианской штукатуркой. С годами он сам становился похож на свою мебель, особенно если иметь в виду изначальный смысл слова – легкодвигающийся. Я помню его еще банкеткой, консольным столиком с газельими ножками, которые легко могли перенести его к окну или остановить в центре комнаты. Напиваясь, он грузнел от наполнявшего его и не умеющего найти выражение смысла. Тогда отец напоминал сундук со спинкой и локотниками или вздутый комод. Животик уже проявился к тому времени и жил как независимая субстанция, вступая с хозяином то и дело в философскую перебранку.

Лицо отца горело, оно было сделано из газета с золотым личным утком, роль которого исполняла разбегающаяся сеть мелких морщин. Только северные, ручьиные глаза никак не приживались на этом лице, и мелкий сиплый говор башибузучничал в плодоносной и самодовольной спальне Людовика Четырнадцатого.

Больше всего нравился он мне кабинетом-секретером с маленькими ящичками и откидной доской для письма. Именно бывая кабинетом, он в мае, например, вывертом из-за спины протягивал мне на прямой ладони загоревшую с одного края грушу (кто сейчас поймет цену этого подарка?), а потом снова таинственно закрывался, становился суров, даже угрюм, но мне казалось, я слышал, как и тогда продолжало булькать в нем счастье. В эти моменты я прощал ему зловерное обращение «Кистинтин», которое в других случаях сводило меня с ума.

¹ С точки зрения вечности (лат.).

В своем ремесле он был жадным путешественником, цель которого не добыча, а освоение пространств. Возглавляя бригаду столяров, отец постепенно переквалифицировался в резчика, сделал несколько китайских росписей по черному лаку, потом занялся интарсией, почему-то предпочитая это слово французскому маркетри, при слове же инкрустация его одолевала зубная боль. К словам он относился как коллекционер, в тайну его пристрастий проникнуть было невозможно.

В конце он увлекся стилем Буль, неизвестно где отыскивая черное дерево, слоновую кость, перламутр, черепаховые панцири, учился огненному золочению бронзы – это был высший взлет и одновременно тупик его вдохновенья; он ненавидел свою работу, ненавидел толстосумых заказчиков, которых именовал «иезуитами»; ум его в эту пору не то что повредился, но стал питаться самим собой и слабо реагировал на окружающее.

Беспокойные ритмы, кривые линии, всю эту хитровязь природы, которая отзывалась узорами его души, отец превращал в остановленное мгновенье, не копировал, но строгал и выклеивал собственные сны, в которых больше было тревожной и влюбленной наблюдательности, чем своеволия. Не робеющее поклонение, конечно, но ведь и не бессмысленное соперничество с природой. Боже упаси, он был всё, что угодно, но не глуп.

Заказчики его были, напротив, именно в этом пункте бесхитростно тщеславны, глупы, не в житейском, а в каком-то метафизическом смысле, где уж я не знаю, как это и называется, потому что речь не о недостатке ума, а о его качестве. Сказать ли просто? Мне кажется, они не догадывались о смерти, в то время как отец жил с ней рядом и, может быть, даже по-своему ее любил. Как это у молодого Пушкина: «Я видел гроб; открылась дверь его: Туда, туда моя надежда полетела...».

Вслед за своим французским патроном, заказчики, сплошь партийные баритоны, не признавали иных границ, кроме собственной воли, и фантазии отца, плюс то, что они могли их купить, поддерживали в них иллюзию власти уже не только над людьми, но над природой и временем. Синдром опять же пушкинской старухи. Только шествие гробов главных лиц по главной площади страны могло их хотя бы на время отрезвить, но до этого впечатляющего парада было далеко.

Геометрия взбунтовалась

Всё это не могло не отзываться в отце глубокой оскорбленностью, которая проявлялась обычно в волшебном пьянстве, чтении стихов и судорожных попытках купить дом на Ладоге или Онеге, для чего он срывался иногда по звонку среди ночи и пропадал на несколько дней. Семейные скандалы стали рутиной, отцовская греза стучалась к нам в сердца с прихотливой, возвышенной и часто липкой артикуляцией, доверия к ней не было, в доме жить стало неспокойно, а я был еще совсем маленький и тоже начал поневоле мечтать.

Может быть, дело было не в этом, а в чем-то другом или в третьем, это ведь никому неизвестно. Отец, выражаясь сленгом тех лет, искал себя, мама, в отместку ему или тоже несомая поветрием, пустилась в собственный поиск, пути их шли разными колеями, но трагически пересекались в квартире, и от этого нарушения логики, геометрия взбунтовалась.

Почему люди так далеко уклонились от распоряжений природы? Только у них пора брачных игр продолжается после свадеб и деторождения, становится даже еще более изобретательной, разгорается от препятствий и продолжается иногда вплоть до полного изнеможения организма. Птица все же сначала ставит на крыло птенца, тюлениха выкармливает потомство, прежде чем сигануть за сотни миль куда-нибудь к Фолклендам в поисках нового счастья. Лососи и вовсе отдают себя на съедение малькам. А ни у кого из них нет, между прочим, ни образа Божия, ни святых мощей, ни юридического толковища о свободе воли. Почему так получилось, что наши воображение и возможности вступили в кровавый конфликт с первоначальной программой?

Впрочем, что я говорю? Мне в этом вопросе надо бы замолчать первому.

Мама вдруг увлеклась танцами. Не «вдруг», конечно. Всё детство она положила на балет, училась преодолевать тяготение. Сохранилась фотография: девочка в пачке парит перед удивленным кустом жасмина, голова ее в аккуратной корзиночке волос повернута к нам, – улетает домашний ангел, нездешнее озорство, прощальный снимок, улетает навсегда. Маленькая собачка до старости щенков весело бросилась за ее пяткой. Последней поймет: нет больше хозяйки, улетела, всё. Услада семьи.

Эта фотография всегда стояла у мамы на этажерке.

В Вагановское ее не приняли из-за всяческих коленок. Но подъем, прыжок, но шаг, говорили, да, звезды шарахаются, такой шаг, если бы не всячие коленки. И еще рост. Обещает быть выше нормы.

Селекционный отбор мама не прошла, хотя тут же прекратила расти, показывая тем самым, на какие жертвы готова была ради искусства. Печально, когда такая самоотверженность оказывается невостребованной, это может убить любую мечту, веру в людей, если не в жизнь. Но, вероятно, все же не может.

Мама танцевала чардаш, и венгерку, и русскую плясовую в Доме культуры профсоюзов. Перед областным концертом – так даже ночами. А потом гастроль по трудовым коллективам, музыкальный фестиваль в Костомукше, знакомство с Народным театром Англии, цветы и дипломы – дома валилась в постель без ужина.

В пять утра подъем, на почту, ветераны писали жалобы в ЦК: почему, разлепив утром не прыгивые уже веки, бегут они по знакомой с детства лестнице за глотком последних партийных новостей, как к кислородной подушке, и обнаруживают ящики пустыми? Каждый день живут, можно сказать, как последний, а и тот в условиях саботажа им не мил. После этого их стали уважать еще больше. Поэтому, не спи почтальон, надевай на пальчик пупырчатую резинку, листай, сортируй и вперед по гробовым улицам, чтобы успеть к первому завтраку ветерана.

Мама относилась к своей работе весело, ноги легкие. Вечером тем более – снова чардаш, полька, краковяк; разноцветные ленты, лайковые сапожки, пылающие лица партнеров. И дома она ни секунды не сидела на месте, продолжала танцевать. Круглое лицо ее, какое бывает у молодых поварих, оставляло после себя в комнатах световую дорожку. Во мне мешались досада и восторг, как будто я наблюдал карнавал из-за садовой ограды.

Вдохновение искусства и вдохновение любви питаются, видимо, из одних живых и мертвых источников, только вот осложнения после этого разные, и, главное, такая путаница. Не только в голове зрителя, между прочим, но и у самого участника. Ничье сердце не признается своему взволнованному обладателю, что именно привело его в великое смятение: достоинство предмета любви или его двойничество с шедевром, разбудившие генетическую память ритмы танцев или дыхание и мускулистое объятие партнера? Для самого носителя экстаза это, конечно, квазипроблема, а наблюдатель, напротив, очень даже, бывает, настойчив в смысле прикосновения к правде. Отец трагически сомневался, что лицо мамы светится вдохновением одного только искусства.

Маминим партнером по танцам был Аркадий И. Ващин, который запомнился мне не только смоляными волосами и тем, что скосил один глаз и по-офицерски боднул каблук о каблук, когда мама нас познакомила, но и тем, что был на голову выше папы, так выгодно выше, что я едва не заплакал. Отец сразу его не полюбил. Кому приятно смотреть на другого снизу вверх? К тому же мама и во сне продолжала танцевать с этим красавцем и с несвойственной ей требовательностью шептала в ухо папе: «Какаша, здесь нежнее!» Тут и менее злобивый человек мог за сутки превратиться в мизантропа. С каждой новой маминной гастролью отец запивал. Он пел и плакал, хохотал, пугая младенцев, которых сам тут же успокаивал вымышленной колыбельной:

Угу-люлю, тебя люблю.
Коты и люди тебя любят.
И стакан, и подстаканник
за тобою поскакали.
Молока наливают,
доброй ночи желают.
И звезду кладут в кровать,
до которой не достать.

Всё казалось ему одушевленным – деревья, кошки, муравьи, со всеми он заговаривал, делись остроумными, как ему казалось, наблюдениями над тщетой красоты и безнадежностью смысла. В своем пьяном антропоморфизме он доходил иногда до экстаза почти религиозного, чем страшно меня пугал.

«Мы не понимаем? – пытал он вождя муравьев, пересадив того к себе на ладонь. – И мы не понимаем. Спрашивай, гордый человек». Схватив в саду за рукав проходившего мимо старичка с шахматной доской, наставлял его по-соседски: «Через все деревья пропущен ток. С ножом – кору там, веточку – ни-ни! И внукам скажи. Ударит».

На пустыре отец непременно вязывался в футбол, предварительно бросив в пыль рубашку. Победно неся перед собой животик, играл он виртуозно, это все знали, поэтому ему были рады. Если приходилось забить гол, отец тут же начинал одеваться и, злясь на свой недавний азарт, говорил: «Я не нарочно. Это фукс, Алешка! Честное советское!» И еще долго бормотал себе под нос: «Бессмысленное ты существо, Иван».

Дома пластинка переворачивалась: отец кричал, выговаривал всему, что попадется под руку, в первую очередь, мне, временами впадал в малодушное, патетическое отчаянье и то и дело срывался на слезы.

– Кистинтин, подай глаза! – кричал в поисках очков. – Где мать? Не шепелявь! Ну-ка, подойди ближе. Улыбнись мне как родному. Что это у тебя с зубами?

Он залезал мне футбольным пальцем в рот, потом им же в рот себе, сверял. Вербные глазки его теряли всякое выражение, веки мелко дрожали, сопровождая крайнюю внутреннюю сосредоточенность.

– Иди к черту! – кричал я и вырывался из его нецепких рук.

– Не надо, как мама, – говорил отец, будто не мне, а всему и всем сразу: вилкам и чашке, часам с боем, своре насекомо грызающихся крошек на столе, марсианским листьям бегонии. Потом снова поднимал глаза на меня: – Зубы – дело наживное. У маршала Жукова выпадали, у Галины Улановой выпадали. Никто не мямлил. Скажи: «Корабли лавировали-лавировали, лавировали-лавировали...» Скажи, я тебя прошу. Будь мужчиной.

– Сам будь мужчиной, – кричал я. – А мне спать пора.

– Иди, поспи маленько. А потом приходи. Мне с тобой поговорить надо. Это ничего.

Я не спал, страдая из-за того, что отец у меня некрасивый; лицо у него, как будто он отлежал его за ночь, и оно так и не распрямилось, с ним в люди выйти нельзя. Я тоже скоро превращусь в старого гномика, не успев вырасти, и мама, проезжая по улице на лошади в бантах, не узнает меня и никогда не полюбит.

Отец на кухне начинал читать стихи, прерывая их очередным приемом «Московской» и беседа с кем-то невидимым:

– «Но снова носится бесцельно Она по пустошам земли...» – декламировал он, потом прерывался: – Тезка! – чокался с бутылкой, громко глотал водку и продолжал, возвысив голос до крика в новом приливе мрачного вдохновения: – «Не вняв тому, что так смертельно К ней мчится из моей дали».

Я понимал, что в стихах речь идет о маме, и удивлялся: как же, действительно, почему она не слышит папу, не внемлет? И тут же сдавался перед справедливостью: не может мама слышать этого бормотанья и бесполезных жалоб, в своем-то цветном полете, не может и не должна, и к чему ей, собственно, за этим спускаться? Красота должна жить отдельно, мама красивая. И не по пустырям она носится, это папа нарочно, чтобы не так ему обидно было, а вокруг мамы всегда музыка, люди стоят в очереди и покупают билет.

Белый вечер закладывал уши, занавеска пузырилась беззвучно; слабая, не отдохнувшая душа отца медленно переходила в меня, и язык сладко ощупывал во рту вспухшие ямки, совершая тризну.

Когда я снова появлялся, отец держал на коленях деревянную «девушку» и оглаживал ее пальцами.

Моряцкая душа

Тут надо мне сказать еще об одной отцовской страсти да уж и идти дальше.

Полтора или два курса отец проучился на филологическом факультете. Об этом я узнал потом, после того как он исчез, и, благодаря моим расспросам, больше по обмолвкам, чем по рассказам, стал заново складываться его образ, с которым никак не хотели совпадать мои дальнзоркие впечатления от него. Детский дом, эвакуация, завод, служба на подводном флоте, филфак, эпопея барочных шкафов и королевских кроватей – слепые кубики не складывались ни в кручинный, ни в патетический, ни в какой-нибудь другой проверенный сюжет.

Постепенно сквозь них стали проступать новые значения: детский дом – бездомность, эвакуация – Волга, служба на флоте – Балтийское море (там и там – вода), филфак – стихи, цех краснодеревщиков – мечта о яхте. Бездомность, вода, стихи, яхта – любимый поэт Иван Коневской, утонувший молодым. Мечта о собственной яхте и путешествии к островам Святой и Коневец, в честь которого далекий его тезка взял псевдоним.

Все равно чего-то не хватало – замысла то есть, связей, но кто сказал, что замысел вообще был? Картина понемногу, частями выступала из черного фона, даже наполнялась подробностями, но это была еще не картина.

Детдомовское полуголодное существование и ритуальные семейные обеды, которые, правда, так и не прижились, вызвав насмешливое сопротивление мамы. Гора плова на привезенном из Ташкента легане, приглушенно светящаяся, как солнце в тучах, и увенчанная куполом чеснока, пасхальные яйца, сморщенные сабельки острого перца, овощи, раскатанные на блюде по листьям салата, – кто больше радовался этому: детдомовец или художник, и не от детдома ли любовь отца к изобильности барокко?

Он мечтал о доме на воде, о доме, но на воде, и только и говорил что о семейной яхте, на которой они когда-нибудь вместе выйдут в Ладогу. Моряк без моря, яхтсмен без яхты, отец мог поделиться только своей мечтой, но вкус этого бесплотного пирога способна была оценить лишь родственная моряцкая душа, а она в нашем доме не ночевала.

Однажды из-за какой-то поломки лодка их залегла на иностранном дне. Подавать сигнал было нельзя.

На второй день отец начал составлять что-то вроде последнего слова осужденного. Очень отвлекающее, говорил, занятие.

– Ты запомнил хотя бы?

Вот так мама всегда. В это «хотя бы» уже был вложен опережающий укор. Потому что, если не запомнил, то и истории как бы нет, память короткая, нечего рассказывать, что рассказывать, когда нет конца? Ну сочинял, так. Слово «Бог» там было? С жизнью все же попрощался, должен был о Боге вспомнить. Это, когда всё более или менее, хорохоримся, а тут уж, наверное, не до амбиций.

Память ли она его проверяла или хотела, чтобы он собственными силами поднялся в ее глазах? История ведь вообще могла получиться героическая. Мама бросала отцу спасительную веревку, давала шанс, надо было только поймать. Неужели он не понимал? Я и то понимал, чувствовал это, напрягался, мне хотелось, чтобы отец вспомнил, это было важно, это важно, пойми, придумай, соври, но говори, гад, урод! Ты же умеешь!

Отец молчал.

Но и тогда, в первую минуту, не все еще было потеряно. Можно ведь так промолчать, так, что все задохнется и станет стыдно им своего пустого любопытства. Непомерность тайны и страдания. Усмехнется, раскурит трубку, втянет внутрь большие губы (Жан Габен), обиженный подбородок боксера, поведет белками глаз: мал ты и мизерен, жалею, даже люблю, сохрани Господь твое неведение, закажи себе что-нибудь, деньги есть, стрелять сегодня больше

не будут, это я обещаю, вот – держи, а мне пора спать, завтра увидимся. О, как способны мы возвыситься в собственных глазах от одного лишь сочувствия чужому величию!

Это были, конечно, только мои пустые мечты. Куда там! У отца и голос был мелкий.

– Ну, вспомнил про Бога-то?

Тут у меня в очередной раз открывались глаза: мама вовсе не веревку отцу бросала (неважная шутка), то есть если и веревку, то не спасительную, а ту, которой он должен был бы сам себя и удавить (тоже, понятно, образно), признаться, что заметался в этой коллективной могилке, струсил, обосрался как маленький, дал слабака и принялся на коленях умолять Бога, в которого не верил. Будучи уже теперь полностью на стороне отца, я, не зная для чего, схватил со стола мамину заколку со сверкающими стеклышками и, напрягшись до темноты в глазах, преломил ее. Реакция была совсем не та, которую я бессознательно готовил: мама порывисто обняла меня и стала часто, часто целовать в голову.

Отец, проверив, видимо, в который раз воспоминание на честность, сказал, подхихикнув:

– Что-то внутри, конечно, сорвалось с катушек. Но слова не было. Некоторые писали письма, если было кому.

Это был ответ «ни вам, ни нам», неудачный ни в каком смысле. Но мама махнула рукой, притянула голову отца к моей, и мы сидели так какое-то время, представляя группу «Святое семейство» неизвестного художника, в которую отец попал или был принят, почти случайно, скорее всего, для полноты композиции.

Кандидат в члены семьи

Все годы, которые мне выпало с отцом жить, он строил в уме яхту. Так ведут себя старики, маньяки, честолюбцы, дети и наркоманы. Так деревянный гимнаст на нитках, между зажатými в руках палочками, рано или поздно начинал крутить «солнышко», и становилось ясно, что пока ты отработывал с ним стойку на кистях, вис, подъем махом, он только и ждал момента, когда сможет пуститься в это безумие. Так вор хитроумен и неловок в разговоре с теми, кого хочет обокрасть, власть замышленного делает его плавким.

«Вот вы говорите о людях, которые при всех бурях остаются на поверхности. Если не пренебречь морским словом остойчивость, то “Фалькботы” или наши яхты класса “Л-6”...» Надо признать, что ум отца на момент этих крутых переводов разговора действительно удалялся куда-то по своим делам. Мама при таких его кульбитах смотрела на всех страдальческими, извиняющимися глазами, как человек, которому судьбой вменено терпеть в семье идиота.

В конце концов отец купил сарай под мастерскую недалеко от Приозерска. Дело было за яхтой.

Я рос вместе с этой несуществующей яхтой, знал про нее всё, она даже стала мне сниться. Отец иногда брал меня знакомиться с очередным кандидатом в члены семьи, несколько раз мы вставали на воду; вкус самостоятельного плавания (представляю, как поморщился бы он от этого сухопутного словечка) оказался еще более хмельным, чем его рассказы. Но благодаря рассказам отца эта борьба с волной и ветром, дикая игра несоразмерных сил, косматое, безбрежное пространство (Боже, сколько слов, шторма-то не было, потащил бы меня отец в шторм!), которое было к нам недружелюбно и одновременно заманивало в себя, вызвало во мне больше, чем детское потрясение. Как это можно объяснить, не знаю. Сбывалось предвосхищенное, слово отца было раньше взбешенных волн, вернее, этих серых, норвящих тебя укусить зверьков, они словно бы исполняли его волю. «Ветер, выпренный трубач ты, Зычный голос бурь». Мне не страшно было погибнуть, хотя страх и сотрясал тело икотой, руки сводило от холода и напряжения, отец что-то кричал, лицо мое выражало, должно быть, ужас, но внутри я ликовал.

План отцовской мечты я помню едва ли не руками, потому что в дни нашего одиночества он часами растолковывал его мне, делая рисунки на удивление четко. Я заново переживал вместе с ним удачу покупки старого, негодного «Драконе» и превращения его в великолепную килевую яхту «Иван Коневской». Мне снились красивые обводы, открытый кокпит и небольшой навес волнореза, который защищал не столько от большой волны, сколько от брызг.

Мы вместе придирчиво осматривали некондиционного «Драконе» и вместе принимались за работу. Конопатили, заменяли прогнившие части набора, шпангоуты, надстраивали борт и завершали всю эту конструкцию полным поднятием палубы и надкаютного подволока. Получалась крепкая, жилая яхта, готовая к крейсерским походам в любую погоду, даже в очень холодную, потому что дерево хорошо держит тепло и прохладу – когда что нужно.

Всё это в полетах мечты, в разговорах и рисунках, но сейчас, когда вспоминаю, руки болят и ноют, а, говоря высоким слогом, поют.

Ночь. Недопитая бутылка на краю стола кажется почему-то коренастой, горбатой и короткошею; мама с Ващиным пляшут на британском корабле гопак, подбрасывая колени к подбородку и по-петушину отворачивая лица; а отец уже работает спичками и объясняет, что стаксель на «Драконе» идет не с кончика носа, а почти с середины передней части палубы. Это придает яхте изящество и оставляет свободное пространство перед парусами. На «Драконе» очень острый нос и штаг, здесь вполне можно посадить девушку.

Мы оба вспотели, отец тяжело дышит; молча любимся мы нашим созданием, окна открыты, на дворе светлее, чем в комнате, и кошки во дворе воют и кричат о неразделенной любви человеческими голосами глухонемых.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.